

На маяке. Генрик Сенкевич

I

Однажды в Аспинвале, недалеко от Панамы, пропал без вести сторож с маяка. Случилось это во время бури, и все предполагали, что несчастный, должно быть, подошел к самому берегу скалистого островка, на котором стоит маяк, и набежавший вал снес его в море. Это предположение было тем более вероятно, что на следующий день не нашли его лодки, обыкновенно стоявшей тут же, у подножья маяка. Надо было как можно скорее нанять кого-нибудь на место погибшего сторожа, – маяк имел немалое значение для местного пароходного движения, а также для судов, идущих из Нью-Йорка в Панаму. Залив Москитов изобилует мелями и рифами, между которыми трудно проходить даже днем, а ночью, когда часто над морем, согреваемым тропическим солнцем, поднимается туман, проход судов почти невозможен. Единственным путеводителем для многочисленных судов является тогда свет маяка. Найти сторожа было поручено пребывающему в Панаме консулу Соединенных Штатов. Но это была нелегкая задача, во-первых, потому, что подыскать его нужно было в течение двенадцати часов, во-вторых, сторож должен быть очень добросовестным человеком, а потому нельзя было принимать первого встречного, и в довершение всего кандидатов вообще не оказалось. Жизнь на маяке необыкновенно трудна и нисколько не привлекает ленивых южан, любящих бродяжничать. Сторож, охраняющий маяк, живет почти как узник. Только раз в неделю, по воскресеньям, он имеет право отлучаться с островка. Продовольствие и свежую воду ему ежедневно привозят из Аспинваля, причем лодка, доставив ему припасы, немедленно уезжает, и на всем островке, имеющем не более морга, не остается никого. Сторож живет на маяке и обязан содержать его в порядке: днем давать сигналы, вывешивая разноцветные флаги согласно показаниям барометра, а вечером зажигать фонарь. Работа на маяке была бы не трудна, если бы не приходилось подниматься вверх по крутой винтовой лестнице в четыреста с лишком ступеней, а сторож подчас совершает это путешествие по нескольку раз в день. Вообще это монашеская жизнь, даже больше чем монашеская – отшельническая. Неудивительно, что мистер Исаак Фальконбридж был крайне озабочен подысканием человека, способного заменить покойного, и легко понять его радость, когда в тот же самый день совершенно неожиданно явился желанный заместитель. Это был уже старый человек, лет семидесяти, а может быть, и больше, но еще крепкий, бодрый, с военной выправкой. Волосы у него были совсем белые, лицо смуглое, как у креолов, но, судя по голубым глазам, он не был южанином. Выражение лица у него было подавленное и печальное, взгляд прямой и честный. Он сразу понравился Фальконбриджу. Оставалось только проэкзаменовать его, и между ними завязался следующий диалог:

– Откуда вы? – спросил консул.

– Я поляк.

– Что вы делали до настоящего времени?

– Странствовал по свету.

– Сторож на маяке должен сидеть на одном месте.

– Я нуждаюсь в отдыхе.

– Служили вы когда-нибудь? Можете ли представить свидетельства о том, что вы честно выполняли свой долг на государственной службе?

Старик вынул из-за пазухи сверток в шелковом линиялом платке, похожем на лоскут старого знамени, развернул его и сказал:

– Вот свидетельства. Этот крест я получил в тысяча восемьсот тридцатом году; второй – испанский крест, его мне дали во время карлистской войны; третий – французский, Почетного легиона; четвертый я получил в Венгрии. Потом я сражался в Соединенных Штатах против южан, там не дают крестов, но вот свидетельство.

Фальконбридж взял бумагу и принялся читать.

– Гм... Скавинский? Это ваша фамилия?.. Во время атаки вы собственноручно захватили два знамени... Да... вы были храбрым солдатом!

– Я сумею быть и добросовестным сторожем.

– Но там по несколько раз нужно подниматься на башню. Здоровые ли у вас ноги?

– Я прошел пешком плены[1].

– All right. Знакомы ли вы с морской службой?

– Я три года служил на китобойном судне.

– Вы перепробовали разные занятия?

– Я не знал только покоя.

– Почему?

Старик пожал плечами:

– Такова судьба.

– Боюсь, что вы слишком стары для работы на маяке.

– Сэр, – внезапно заговорил старик взволнованным голосом. – Я очень устал и измучен. Как видите, я много пережил. Именно о таком месте я в последнее время мечтал. Я стар и нуждаюсь в покое. Пора сказать себе: вот здесь ты, наконец, осядешь, это твоя гавань! Ах, сэр, это зависит только от вас. В другой раз такого места не найдешь. Какое счастье, что я оказался в Панаме... Умоляю вас... Видит бог, я разбит, как корабль, который потонет, если не войдет в гавань... Осчастливьте старика... Клянусь, я честный человек, но... я слишком устал... мне довольно скитаться...

Голубые глаза старика выражали такую мольбу, что Фальконбридж, у которого было доброе, простое сердце, почувствовал себя растроганным.

– Well[2], – сказал он. – Я принимаю вас. С этой минуты вы сторож маяка.

Лицо старика просияло невыразимой радостью.

– Благодарю вас.

– Можете ли вы сегодня же отправиться на маяк?

– Так точно.

– В таком случае – good bye! [3] Еще одно слово: после первого же упущения по службе вы будете уволены.

– All right!

В тот же вечер, когда солнце зашло за перешеек и после лучезарного дня наступила без сумерек ночь, новый сторож, очевидно, был уже на своем посту: в положенный час маяк, как всегда, бросил на воду яркий сноп света. Ночь была тихая, спокойная и, как часто бывает в тропиках, насыщена светлым туманом, образующим вокруг луны радужный круг с мягкими расплывающимися краями. Начинался прилив, и море слегка волновалось. Скавинский стоял на площадке возле гигантского фонаря и снизу казался маленькой черной точкой. Он пытался собраться с мыслями и обдумать свое новое положение, но был еще слишком подавлен. Старик чувствовал себя как затравленный зверь, которому удалось, наконец, скрыться от погони где-нибудь на неприступной скале или в пещере. Наконец-то в его жизни настала пора покоя. Сознание безопасности наполняло его душу глубоким наслаждением. Теперь, на этой скале, он мог позабыть обо всех ударах судьбы, которая заставляла его скитаться по свету и измучила несчастьями и неудачами.

Он и правда был как корабль, разбитый бурей; она ломала на нем мачты, рвала канаты, паруса, окатывала волнами и, злобно швыряясь пеной, бросала с высоких гребней громадных морских валов в бездну – и все же он спасся от нее и ушел в гавань. Картины этой бури одна за другой проносились в его воображении, и по сравнению с ними особенно светлым казалось ему то тихое будущее, которое отныне предстояло ему. О главных событиях своей жизни старик рассказал Фальконбриджу, но о тысяче других приключений не упомянул. Несчастье преследовало его, и всякий раз, когда он разбивал свой шатер и разводил огонь, собираясь зажить на покое, откуда-то налетал вихрь, срывал шатер и, разметав огонь, гнал его самого на погибель. Поглядывая с площадки маяка на освещенные волны, старик вспоминал все, что пришлось ему испытать. Он сражался в четырех частях света и за время своих скитаний перепробовал свои силы почти во всех профессиях. Человек он был работающий и честный, и ему неоднократно удавалось скопить небольшое состояние, но, несмотря на величайшую осторожность, он всякий раз снова его неожиданно терял. Он добывал золото в Австралии, искал алмазы в Африке и был правительственным стрелком в Восточной Индии. Когда он завел в свое время в Калифорнии ферму, ее погубила засуха; тогда он стал торговать с дикими племенами, населяющими Центральную Бразилию, но однажды плот его разбился на реке Амазонке, сам он, безоружный и почти нагой, в течение нескольких недель блуждал по лесам, питаясь дикими плодами и поминутно подвергаясь опасности быть растерзанным хищными зверями. Он открыл кузницу в Арканзасе, но она сгорела во время пожара, истребившего весь город. Затем в Скалистых горах он попал в руки индейцев и только чудом был спасен канадскими стрелками. Тогда он поступил матросом на корабль, делавший рейсы между Багия и Бордо, а потом гарпунщиком на китобойное судно: оба судна потерпели крушение. Была у него фабрика сигар в Гаване, но его обокрал компаньон как раз тогда, когда он заболел вомиито [4]. И вот он в Аспинвале – здесь, казалось, должны были кончиться его невзгоды. Да и что может грозить ему на этом скалистом островке? Ни вода, ни огонь, ни люди. Впрочем, люди причинили ему не много зла. Ему чаще случалось встречать хороших людей, чем дурных. Зато, как ему казалось, его преследовали все четыре стихии. Люди, знавшие его, говорили, что ему просто не везет, и этим всё объясняли. Сам он в конце концов стал маньяком. Он верил, что какая-то могущественная и

мстительная сила преследует его всюду – на суше и на море. Но он не любил об этом говорить и лишь изредка, когда его спрашивали, какая же это сила, с таинственным видом указывал на Полярную звезду, отвечая, что это исходит оттуда...

Действительно, неудачи преследовали его с таким непонятным упорством, что легко могли сломить волю того, кто их испытывал. К счастью, у него было терпение индейца и могучая, спокойная сила сопротивления, присущая лишь честным, мужественным сердцам. В свое время в Венгрии Скавинский был весь исколот штыками, но, несмотря на полнейшую невозможность сопротивляться, не хотел сдаться. Точно так же не поддавался он в несчастье. Лез в гору упорно, как муравей. Если его сталкивали с горы сто раз, Скавинский спокойно отправлялся в путешествие в сто первый. Это был в своем роде необыкновенный чудак. У этого старого солдата, закаленного в стольких боях, испытавшего бог весть какие несчастья, прошедшего сквозь огонь и воду, было сердце ребенка. Во время эпидемии на Кубе у него был значительный запас хинина, он роздал его целиком больным, не оставив себе ни грана, и сам заболел.

Удивительнее всего в нем было то, что после стольких разочарований он не падал духом и продолжал надеяться, что все будет хорошо. Зимой он всегда оживлялся и предсказывал какие-то великие события. Он с нетерпением ждал их и мыслью о них жил целые годы. Но зимы проходили одна за другою, а Скавинский дождался лишь того, что голова у него совершенно побелела. Наконец, он состарился и стал терять энергию. Его терпение напоминало теперь покорность судьбе. Прежнее спокойствие сменилось чрезмерной чувствительностью; закаленный солдат превратился в плаксу, готового пустить слезу по любому поводу. Кроме того, время от времени его терзала страшная тоска по родине, которую вызывали иногда самые незначительные причины: вид ласточек или каких-то серых птичек, похожих на воробьев, снег на горах или мелодия, напоминающая песни, слышанные в детстве... Наконец, им овладела одна мысль – мысль об отдыхе. Она целиком захватила старика, поглотив все другие стремления и надежды. Для этого вечного странника теперь не было ничего желаннее, ничего дороже спокойного уголка, где он мог бы отдохнуть и тихо ждать своего последнего часа. Быть может, именно вследствие странных прихотей судьбы, которая бросала его по всем морям и странам, не давая передохнуть, Скавинский считал теперь величайшим счастьем на свете получить возможность не скитаться. Правду сказать, он вполне заслуживал такого скромного счастья, но так уже привык к разочарованиям, что думал об этом как о чем-то недостижимом, о чем можно только мечтать. Он не смел даже надеяться, как вдруг, совершенно неожиданно, в течение двенадцати часов, получил место, как будто нарочно созданное для него. Не удивительно поэтому, что вечером, зажигая фонарь, старик был точно в чаду и, спрашивая себя, правда ли это, не смел ответить: «да». А между тем действительность представляла ему неопровержимые доказательства: часы шли, и никто не гнал его с маяка. Старик впитывал в себя эти доказательства и убеждался. Могло показаться, что он впервые в жизни увидел море: на башне в Аспинвале пробило полночь, а он все не уходил со своей вышки и смотрел. Внизу, у ног его, играло море. Фонарь бросал в темноту гигантский круг света, и за пределами его взор старика терялся в совершенно черной, таинственной и страшной дали. Но даль эта, казалось, приближалась к свету. Огромные волны выступали из темноты, с ревом неслись к подножью островка, и тогда видны были их вспененные гребни, отливающие красным в свете фонаря. Прилив все усиливался, и вода постепенно заливала песчаные отмели. Таинственный говор океана становился все явственнее, все громче и уже напоминал то залпы пушек, то шум гигантских лесов, то отдаленный многоголосый гул толпы. Порой наступала тишина, и тогда до слуха старика долетали какие-то глубокие, тяжелые вздохи, какие-то рыдания, – потом опять громко гремели залпы. Наконец, с запада подул ветер и рассеял туман,

но нагнал черные разорванные тучи, которые закрыли луну. Ветер усиливался, валы с яростью налетали на островок, обдавая пеной подножье маяка. Издали доносился грохот надвигающейся бури. На темной бушующей поверхности моря блеснуло несколько зеленых фонариков, прикрепленных к мачтам идущих в гавань судов. Эти зеленые огоньки то подымались вверх, то падали вниз, то раскачивались из стороны в сторону. Скавинский спустился в свою комнату. Завыла буря. Там, на море, люди на кораблях боролись во мраке ночи с разбушевавшимися волнами, а здесь, в комнате, было спокойно и тихо. Даже рев бури едва проникал сквозь толстые стены маяка, и только мерное тик-так часов как бы убаюкивало усталого старика.

II

Проходили часы, дни и недели...

Матросы утверждают, что порой, когда море бушует, в ночной темноте какой-то голос зовет их по имени. Если зовет беспредельная морская даль, то, быть может, когда человек состарится, его зовут и иные беспредельные дали, более мрачные и таинственные; и чем более он измучен жизнью, тем желаннее ему эти зовы. Но для того, чтобы их услышать, нужна тишина. Кроме того, старость, как бы в предчувствии могилы, любит уединение. Для Скавинского маяк был уже почти могилкой. Нет ничего более однообразного, чем жизнь на маяке. Если случается, что на такую должность нанимаются молодые люди, они неизбежно вскоре ее бросают. Вот почему сторожем маяка обычно бывает человек немолодой, угрюмый и замкнутый в себе. Когда он почему-либо уходит с маяка и возвращается к людям, то чувствует себя среди них как человек, пробужденный от глубокого сна. На маяке нет того множества мелких впечатлений, которые в обычной жизни приучают все связывать с собою. Все, с чем соприкасается сторож маяка, колоссально и лишено определенных форм. Здесь только небо и вода, и среди их беспредельности – одинокая человеческая душа. При такой жизни обитатель маяка постоянно пребывает в состоянии задумчивости, и из этой задумчивости ничто его не выводит, даже выполняемые им обязанности. Один день похож на другой, как зерна четок, и единственное разнообразие вносит, пожалуй, только перемена погоды. Однако Скавинский чувствовал себя здесь таким счастливым, каким не был еще никогда в жизни. Он вставал на заре, завтракал, чистил фонарь, а потом, усевшись на площадке, смотрел в морскую даль, и глаза его никогда не могли насытиться картинами, которые открывались перед ним. Обычно на безграничном бирюзовом фоне виднелись стаи распущенных парусов, так ослепительно сверкавших в лучах солнца, что от чрезмерного их блеска невольно щурились глаза. Порой суда, пользуясь попутным ветром – пассатом, шли длинной цепью, одно за другим, как вереницы чаек или альбатросов. Красные бакены, указывающие путь, мягко и легко колыхались на волнах; среди парусов ежедневно в полдень серебристым туманом поднимался густой дым. Это пароход из Нью-Йорка вез пассажиров и товары в Аспинваль, оставляя за собой длинную узкую полосу пены. С другой стороны площадки Скавинский видел как на ладони Аспинваль и его оживленный порт, а в нем – лес мачт, корабли и лодки; несколько дальше белели дома и башни города. С высоты маяка дома казались гнездами чаек, лодки – жуками, а люди маленькими черными точками, движущимися по белой набережной. С утра легкий ветерок доносил с востока смутный гул городской жизни, заглушаемый гудками пароходов. В полдень наступал перерыв. Движение в порту прекращалось, чайки скрывались в расщелинах скал, море успокаивалось и лениво катило волны, и тогда на суше, на воде и на маяке наступала ничем невозмутимая тишина... Желтые пески после отлива блестели, точно золотые отсветы на поверхности моря; башня маяка отчетливо отражалась в лазури. Солнечные лучи потоками лились с неба на воду, на пески и скалы. В такую пору и стариком овладевала какая-то сладостная истома. Он чувствовал всю прелесть отдыха, которым пользовался теперь, и, надеясь, что он будет длительным, больше ничего

не желал. Это было глубокое счастье, и он им наслаждался со всей полнотой, а так как человек легко осваивается с лучшей долей, то и Скавинский мало-помалу ободрился. «Если люди строят дома для инвалидов, – думал он, то почему бы богу не приютить, наконец, на этой скале своего инвалида?» Время шло и утверждало его в этом убеждении. Старик сжился с маяком, с обрывом, с отмелью и одиночеством. Он познакомился также с чайками, которые гнездились в расселинах скал, а по вечерам устраивали сборища на крыше маяка. Скавинский бросал им остатки своей пищи, и птицы вскоре настолько привыкли к нему, что, когда он появлялся с тарелкой на площадке, на него налетала буря белых крыльев, а он ходил между ними, как пастух среди овец. Во время отлива старик отправлялся на песчаные отмели и собирал вкусных улиток и красивые жемчужные раковины, которые оставляли на песке схлынувшие волны. Ночью, при свете маяка и луны, он ловил рыбу, водившуюся в огромном количестве в заливе. В конце концов он полюбил свою скалу и свой безлесный островок, поросший только какими-то мелкими растениями, из которых сочилась липкая смола. За бедность островка его вознаграждали прекрасные виды, открывающиеся с маяка. В полдень, когда воздух становился особенно прозрачным, можно было видеть весь перешеек, вплоть до Тихого океана. Он был покрыт пышной растительностью и казался Скавинскому сплошным огромным садом. Тут же, за домами Аспинваля, раскинулись роскошные букеты кокосовых пальм и бананов. Дальше, между Аспинвалем и Панамой, тянулся гигантский лес, над которым по утрам и к ночи колыхался красноватый туман. Всевозможные тропические деревья, переплетенные лианами и громадными орхидеями, поднимались из стоячей воды.

В подзорную трубу старик мог разглядеть не только деревья, не только широко раскинувшиеся листья бананов, но и стада обезьян, больших марабу и стаи попугаев, время от времени радужной тучей взвивающихся над лесом. Скавинскому были хорошо знакомы подобные леса: после крушения на Амазонке он несколько недель скитался в таких чащах. Блуждая под этими чудесными зелеными, такими заманчивыми сводами, он видел в них таящую смертельную опасность. По ночам он слышал вблизи замогильные завывания пум и рев ягуаров, видел гигантских змей, качающихся на деревьях подобно лианам, и сонные лесные озера, кишасшие скатами и аллигаторами. Он знал, под каким ярмом живет человек в этих непроходимых чащах, где среди гигантских листьев, под которыми можно легко укрыться, роятся кровожадные москиты, древесные пиявки и громадные ядовитые пауки.

Скавинский сам все это видел, испытал и пережил, и теперь ему доставляло особенное наслаждение смотреть со своей башни на эти роскошные леса, восхищаться ими и вместе с тем чувствовать себя в полной безопасности. Маяк защищал его от всякого зла, и он только изредка покидал его по утрам в воскресные дни. Тогда он облачался в темно-синий мундир с серебряными пуговицами, увешивал грудь своими крестами и горделиво поднимал седую голову, слыша при выходе из церкви, как говорили креолы:

– У нас теперь очень порядочный сторож на маяке. И притом не еретик, хотя и янки!

Однако после обедни он тотчас возвращался на остров, и возвращался с радостью, потому что все еще не доверял материку. По воскресеньям Скавинский читал испанскую газету, которую покупал в городе, или нью-йоркский «Геральд», взятый взаимнообразно у Фальконбриджа, и жадно искал в них известий из Европы. Бедное старое сердце! Даже на этом маяке, на другом полушарии, оно все еще билось для родины... Вначале, когда лодка, ежедневно доставлявшая ему провизию и воду, причаливала к острову, старик спускался со своей башни побеседовать со стражником Джонсом. Впоследствии, однако, он видимо одичал: перестал бывать в

городе, читать газеты и беседовать о политике с Джонсом. Незаметно шло время, и по целым неделям он никого не видел и никто не видел его. Единственным признаком того, что старик жив, было исчезновение провизии, оставляемой на берегу, и свет на маяке, вспыхивающий каждый вечер с такой же точностью, с какой по утрам из воды поднималось солнце. Очевидно, Скавинский стал равнодушен ко всему. Причиной этого была не тоска по родине, а именно то, что даже она превратилась в покорность судьбе. Весь мир теперь сосредоточился для него на этом островке. Старик уже сжился с мыслью, что не оставит маяка до самой смерти, и просто забыл, что существует другая жизнь за пределами островка. В довершение всего Скавинский стал мистиком. Его ласковые голубые глаза приняли какое-то детское выражение и всегда были устремлены куда-то вдаль. Пребывая в постоянном одиночестве и видя перед собой лишь необъятную ширь моря и беспредельный небесный свод, старик постепенно утрачивал сознание своего «я», переставал существовать как отдельная личность и все более сливался с окружающей его природой. Он не задумывался над этим, а только бессознательно чувствовал. Наконец, ему стало казаться, что небо, вода, его скала и маяк, золотистые песчаные отмели, надутые паруса и чайки, приливы и отливы – что все это представляет некое великое единое целое, одну огромную таинственную душу. Он потонул в этих мыслях, убаюканный ими, впал в забытие и в своем самоотречении, в этом состоянии полуяви, полусна нашел великое успокоение, подобное смерти.

III

Но вот настало пробуждение.

Однажды, спустившись со своего маяка после ухода лодки, доставившей ему провизию и воду, Скавинский заметил на берегу еще какой-то пакет. На толстой парусине, в которую был зашит пакет, были наклеены почтовые марки Соединенных Штатов и отчетливо написана его фамилия. Любопытство Скавинского было возбуждено, он поспешно разрезал полотно и увидел книги; взял одну из них, заглянул в нее и положил обратно; руки его сильно дрожали... Он закрыл руками глаза, словно не веря им, ему казалось, что это сон: книга была польская.

Что это значит?! Кто мог прислать ему книги? В первую минуту он забыл, что еще в начале своей службы на маяке прочитал однажды в газете, взятой у консула, об основании Польского общества в Нью-Йорке, что тогда же послал Обществу половину своего месячного жалованья, с которым ему здесь нечего было делать. Общество в благодарность прислало ему книги. Они попали к нему вполне естественным путем, но в первый момент старик растерялся, и это не пришло ему в голову. Польские книги в Аспинвале, на маяке, в его одиночестве – это было для него чем-то чрезвычайным, почти чудом. На него повеяло далеким прошлым. Ему померещилось, как тем морякам в ночной темноте, будто кто-то зовет его по имени, зовет бесконечно дорогим, но давно позабытым голосом. С минуту он сидел с закрытыми глазами и был почти уверен, что, когда откроет их, сон исчезнет. Но нет! Вскрытый пакет отчетливо выделялся на песке в ярких лучах полуденного солнца, а на нем лежала уже раскрытая книга. Когда старик снова потянулся за ней, он услышал в тишине биение своего сердца. Это были стихи. На первой странице вверху крупными буквами было напечатано заглавие, а немного ниже фамилия автора. Фамилия эта не была чужда Скавинскому: ему было известно, что она принадлежит великому поэту, произведения которого он читал в тридцатых годах в Париже. Позже, сражаясь в Алжире и в Испании, Скавинский не раз слышал от своих соотечественников о все возрастающей славе великого певца, но в то время он не расставался с винтовкой и книгу даже в руки не брал. В 1849 году Скавинский уехал в Америку и за все время своей скитальческой жизни, исполненной невзгод и приключений, почти не встречался с поляками и ни разу не видел польских книг. И

вот теперь он с бьющимся сердцем бережно перевернул заглавную страницу. Ему показалось, что в эту минуту на его одинокой скале совершается нечто торжественное.

Вокруг стояла невозмутимая тишина. Часы в Аспинвале пробили пять пополудни. Ни одно облачко не омрачало ясного неба, и лишь несколько чаек парило в лазури. Океан, казалось, дремал. Только прибрежные волны тихо журчали, мягко расплываясь по песчаным отмелям.

Вдали сверкали белые дома Аспинваля среди чудесных пальм. И правда, все кругом было как-то особенно торжественно, тихо и величественно. И вдруг среди этого покоя, царившего в природе, раздался дрожащий голос старика, он читал вслух, чтобы лучше понять:

Отчизна милая, Литва, ты как здоровье,
Тот дорожит тобой, как собственной кровью,
Кто потерял тебя И я, тоскуя ныне,
Лишь о тебе пою и плачу на чужбине.
Скавинский умолк. Буквы запрыгали у него перед глазами; в сердце что-то оборвалось и, как волна, поднималось все выше, выше, сдавливая горло и заглушая голос.

Через минуту старик овладел собой и снова начал читать:

О мать божия, ты светишь в Острой Бrame,
Твой чудотворный лик и в Ченстохове с нами,
И в Новогрудке ты хранишь народ от бедствий,
Не ты ли и маня спасла от смерти в детстве!
(Благодаря твоей божественной опеке
Я поднял мертвые, сомкнувшиеся веки
И сам сумел дойти до твоего порога
За исцеленье сам благодарил я бога)
Так нас на родину вернешь, явив нам чудо.[5]

Его охватило такое волнение, что, наконец, он не выдержал и, зарывав, бросился на землю; его седые волосы смешались с прибрежным песком. Вот уже почти сорок лет, как он не видел родины, и бог знает, как давно не слышал родной речи, а теперь эта речь пришла к нему сама – такая любимая, такая родная и такая прекрасная! Она переплыла океан и нашла его, одинокого странника, на другом полушарии. В его рыданиях не было ни горечи, ни тоски, а лишь внезапно пробудившаяся безмерная любовь, перед которой все остальное было ничтожно. Плача, он словно молил далекую любимую родину простить его за то, что так уже состарился, так сжился с этой одинокой скалой и так ушел в себя, что даже тоска его стала затихать. А теперь он «чудом возвращался», и оттого сердце в нем рвалось на части. Проходили минуты, одна за другой, а он все лежал. Чайки с криком слетались на площадку маяка, словно тревожась за своего старого друга. В этот час он обычно кормил их остатками своей еды, и несколько чаек, не найдя его на маяке, прилетело к нему. Число их все увеличивалось; хлопая крыльями, они стали кружиться над его головой и легонько его клевать. Шум крыльев разбудил его. Облегчив свою душу слезами, старик успокоился, лицо его сияло, глаза горели вдохновением.

Не сознавая, что делает, он отдал весь свой ужин птицам, которые с криком накинулись на еду, а сам опять взялся за книгу. Солнце уже проплыло над садами и девственными лесами Панама и, медленно опустившись за перешеек, клонилось к

другому океану, но и Атлантический еще сверкал, играя яркими красками; было совсем светло, и Скавинский продолжал читать:

Позволь душе моей перелететь отсюда

К лесам задумчивым, к зеленым луговинам...

Внезапно наступившие сумерки стерли буквы на белой странице. Старик откинул голову и, прислонясь к скале, закрыл глаза. И тогда та, чей «чудотворный лик сияет в Острой Бrame», перенесла его душу «к лесам задумчивым, к зеленым луговинам». В небе еще пламенели багряные и золотые полосы, и, озаренный их светом, он унесся в родные поля. В ушах его зашумели сосновые леса, зажурчали родные реки. Он видит все, как было. Все спрашивает его: «Ты помнишь?» О да, он помнит! Да он и видит – широкие поля, межи, луга, леса и деревушки. Уже ночь. Обычно в эту пору его маяк уже освещал морскую пучину – но теперь Скавинский в родной деревне. Опустив голову на грудь, старик спит. Перед глазами его быстро и беспорядочно проносятся образы прошлого. Он не видит родного дома – его уничтожила война, не видит ни отца, ни матери, потому что они умерли, когда он был ребенком, но вот его деревня – кажется, он только вчера ее покинул: ряд изб, огни в окнах, плотина, мельница, два пруда, в которых всю ночь напролет квакают лягушки... Однажды ночью он в своей деревне стоял на дозоре; теперь воспоминание об этой ночи внезапно встает перед ним в веренице видений. Он снова улан и стоит на часах; вдали светится корчма ярко горящими глазами, и шумит, и поет, и гудит в ночной тишине – топот, звуки скрипок и контрабаса, крики: «У-га! У-га!» Это уланы пляшут, высекая подковами огонь, а ему одному на коне так скучно. Часы лениво тянутся, наконец свет гаснет, куда ни кинешь взгляд – туман, густой туман: видно, это с лугов поднимаются испарения, застилая весь мир белой пеленой. Будто океан. Но нет, это луга: скоро в темноте затрещит дергач, и закричит выпь в камышах. Ночь тиха и прохладна, настоящая польская ночь! Вдалеке без ветра шумит сосновый бор... словно море. Вскоре на востоке покажется светлая полоса, вот уже и петухи поют за плетнями, перекликаются друг с дружкой из хаты в хату. А вот журавли кричат в вышине Улан чувствует себя бодрым и здоровым. Что это товарищи говорили о завтрашней битве? Ну что ж! И он пойдет, как пойдут с боевыми криками другие, в плеске знамен. Молодая кровь играет в жилах, хоть ее холодит ночной ветер. Но вот и рассвет, уже рассвет! Ночь бледнеет; из мрака мало-помалу выступают леса, ряды изб, мельница, тополя. Журавли колодцев скрипят, как жестяной флажок на маяке. Как прекрасна эта любимая земля в розовом сиянии зари! О родная, родная!

Тише! Бдительный часовой слышит, как кто-то приближается. Наверно, идут проверять посты.

Вдруг над Скавинским раздается чей-то голос:

– Эй, старик! Вставайте. Что это с вами?

Старик открывает глаза и с удивлением смотрит: над ним склонился какой-то человек. Обрывки сновидений борются в нем с действительностью. Наконец, видения бледнеют и исчезают. Пред ним стоит портовый стражник Джонс.

– Что с вами? – спрашивает Джонс. – Вы больны?

– Нет.

– Вы не зажгли фонарь и будете отстранены от должности. Судно из Сан-Жеромо село на мель; к счастью, никто не утонул, а то бы вас отдали под суд. Садитесь со

мной в лодку, остальное узнаете в консульстве.

Старик побледнел: действительно, в эту ночь он не зажег фонаря.

Спустя несколько дней Скавинский был уже на палубе парохода, направлявшегося из Аспинвала в Нью-Йорк. Бедняга потерял место. Снова ему предстояли скитания, снова ветер сорвал этот лист, чтобы вволю натешиться над ним, гоня неведомо куда – по морям и материкам. За эти несколько дней он сразу осунулся и сгорбился, только глаза его ярко блестели.

В новый жизненный путь Скавинский нес на груди свою книгу и время от времени прижимал ее рукой, как бы опасаясь, чтобы и она у него не пропала.

1880

Примечания

1 Пленами называются неизмеримые степи между Нью-Йорком и Калифорнией (Прим. автора).

2 Хорошо (англ.).

3 До свидания! (англ.).

4 Желтая лихорадка.

5 Отрывки из поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш» (перевод С. Мар).